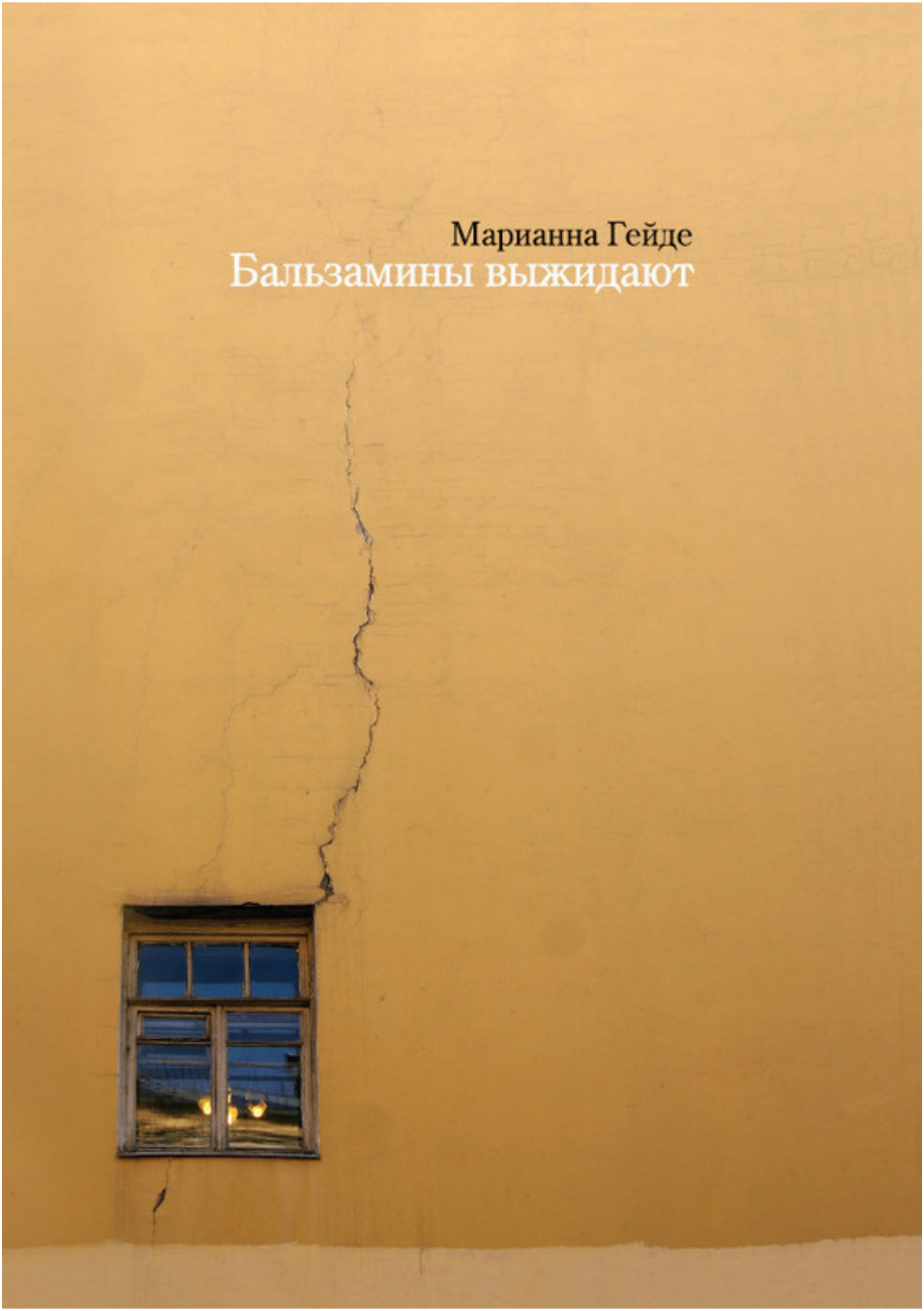
Марианна Гейде

Бальзамины выжидают



Марианна Гейде

Бальзамины выжидают

НП «Центр современной литературы»

Гейде М.

Бальзамины выжидают / М. Гейде — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-053-2

Это «книга эксцессов». То есть чудес. Потому что эксцесс — это и есть чудо, только удивительным образом лишенное традиционной основы чудесного — Высшей воли. Ибо Бога, который не может быть засвидетельствован, естественно, не существует. (Впрочем, здесь тоже не все так просто, ибо автор, подобно Канту, по булгаковскому Воланду, отвергнув традиционные доказательства, выдвинул свое. Но мы с вами пока об этом ничего не знаем.) Итак, эксцесс — безосновное чудо — у которого и для которого нет оснований. Это не-вольное чудо, буквально. На которое нет Воли, а есть попустительство. Несколько шутовское попущение какой-то высшей инстанции, которая иногда допускает чудеса-эксцессы. Потому что ей самой, этой инстанции, так интереснее. Потому что она не существует, но может скучать, испытывать интерес, допускать чудеса-случайности-эксцессы, задавать загадки, а главное — смотреть и следить. Вот эта тема здесь одна из центральных — неизвестно чьего взгляда, подобного прицелу, и который испытывает человек в не меньшей степени, чем поедающая банан макака.

ISBN 978-5-91627-053-2

© Гейде М.
© НП «Центр современной литературы»

Содержание

Полынь и ваниль 6
Бальзамины выжидают 8
I 8
Мышь говорит старухе 8
Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню 8
Две карлицы 8
Пеликан 9
Печальное вьючное животное 9
У Святой Лючии две пары глаз 9
Гранат 9
Глаз лошади 10
Маленькая макака 10
Рахиль 10
Куст бересклета 10
Враги 11
Снег 11
Черепаха 11
О смехе богов 12
Лезвие 13
Дети хоронят жужелицу 13
Сом 13
Сколько душ у сороконожки? 14
Во влажной земле отверженных 14
Голова хвоста 14
Бальзамины выжидают 15
Лягушка 16
Древесный гриб 16
Грибы имеют двойников 16
Спрут 16
Скорпион 17
Аксолотль 17
Хамелеон 17
Цикламен 18
Деревья, поваленные бурей 18
Муравей размером с букву «Ж» 18
II 20
Человек и растение 20
Море 21
Записки из царства мертвых 22
Московский зоопарк, Экзотариум 23
Безответственная романтизация изменённых состояний 24
Тератомы пресакральной области 25
Сирены в Берлинском зоопарке в 1986 году 26
Женщина из Музея Гигиены 27
Странные создания Свифта 28
Город 28

Конец ознакомительного фрагмента. 30

Марианна Гейде
Бальзамины выжидают

Полынь и ваниль

В этих текстах – пряность и горечь. Сила ощущений – от ярости до яркости. Мир, встречаемый телом, осязанием. Гейде часто говорит о боковой линии – органе рыб, который позволяет чувствовать колебания воды вокруг. А мир чаще ударяет, чем гладит (хотя не жесток – всего лишь безразличен, как кошка, съедающая хомячка просто потому, что ест мелких грызунов). Но «лезвие, входящее в плоть, бессильно разорвать её поверхность, оно лишь вызывает к жизни новые поверхности, до времени сокрытые в её толще. Так они раскрываются, разворачиваются, выпрастываются, словно лепестки, так тело, охваченное цветением, преображается, изумлённое тем, чем, не ведая того, было богато». Человек – рана. И другой человек, другой предмет встречается как боль. Как рана, открытая ране. «Чёрные, точно обожжённые зажигалкой и пепелящиеся по краям розы, небесная стружка, их шипы пропитаны галлюциногеном, от которого кровь разворачивается, оборачивается жидким стеклом, на секунду застывая, чтобы надорвать аорту». Гибель раскрывает и обнажает. Древесина сломанного дерева – «точно мясо некоей большой птицы». Боль и отверженность дают понимание.

Рядом с пустотой, от которой не избавиться и которую не заполнить. Рядом со смертью, которая неопровержима – и не лжет, как фальшивый коньяк или голоса, говорящие о сплющивании вещей. Смерть – плод, вызревающий в человеке (об этом говорил еще Рильке). Кости зреют «как ядро миндаля под жесткой горькой кожурой». И такой плод может стать игрушкой – но и продолжением другой жизни. Гейде примеряет новые и новые образы мертвых – то они смеются над ничтожностью того, что так боятся живые, смертью, – то их надо обучать всему, как детей. «Мёртвые требуют от живых бесконечного терпения: им всё нужно разжёвывать по несколько раз».

В присутствии Бога – когда человек осознает, что он даже не орудие в Его руке, а случайно подвернувшийся Ему предмет. Встреча с Богом тоже у всего человека, у тела, не только души. Чтобы Дух увидел человека изнутри, надо проглотить солоноватое глазное яблоко Святой Лючии. И Библия – постоянная данность, живая, и потому допускающая свободу толкования и продолжения. «Господь нагнал на человека сон, и когда тот уснул, вынул ему ребро и создал из него ещё одного человека, не мужчину, а женщину. Однако первый человек до конца не пробудился ото сна и другого человека видел словно бы сквозь дымку или марево» – так и смотрит мужчина на женщину по сей день. А заплывший в море так, что не видно берега, вспоминает взгляд Бога на воду во дни творения, когда еще не было суши.

Граница между такой прозой и стихотворением почти стерта. Потому что стих – не ритм и рифма, а концентрация и многозначность. Взгляд, не желающий растекаться в роман. Лучше – всматриваться, вживаться в деталь, в подробность. Пока она сама не покажет свою жизнь. Потому что прилив – расширение океана от его воспоминаний. Гейде – «на стороне предметов», как Франсис Понж. Или Андрей Левкин.

Незачем говорить больше, чем нужно. Если в каком-то случае важно только то, что действующих лиц двое, зачем давать им имена? Хватит – как обозначение различия двух точек в геометрии, B и B штрих. Персонажи – да и люди – вообще зыбки и непрочны. «Все её усилия были целенаправленно устремлены к тому, чтобы не рассыпаться на части, так что на всё остальное уже не оставалось почти ничего». После Борхеса и концептуализма мы понимаем, что во многих случаях достаточно привести схему события, не пытаясь обрастить ее искусственными подробностями, обмануть себя и читателя дешевыми уловками правдоподобия. Не-

ассоциативное повествование исчерпано. Если действие только названо, оно не объяснено. Что происходит? Кто-то пытается сказать: «поцелуй», «семинар». Но происходящее отрицает обозначение, показывая, насколько далеко конкретное событие отстоит от своего абстрактного наименования.

Идти к этому событию, предмету, человеку – подбирая слова, которые касаются его, обрисовывают его в его многосторонности и многосвязности. Рефлексия и точность. «Возможно, смерть – та же соль. Нет, не та. Вот эта». Если такая проза не будет умной, ее вообще не будет. Лишить эти тексты рефлексии, «поглупеть», как советуют Гейде критики вроде Д. Бака, означало бы уничтожить их. Прòклятый поэт Гейде не теряет отчетливости взгляда ни при каких боли или отвращении. Собственно, и Шарль Кро был инженером – но ни он, ни Тристан Корбьер, ни Морис Роллина не были философами, а за Гейде – аппарат современной философии. Которая, кстати, считает одной из своих задач – представление возможных миров.

Идти куда-то – хотя бы только потому, что сапоги оказались дружелюбными, в отличие от пуговицы, которая врет. И встреченные сирены – то ли «настоящие» биологические (ламантины), то ли «настоящие» мифологические (завлекавшие мореходов), но какие из них вообще настоящие? И стоит ли придавать этой «настоящести» слишком большое значение? Как и Борхес, Гейде любит мир средневековых бестиариев, где пеликан завивает кудри богородицы. Мир легенд. Люди, съедающие осьминогов, слепнут, но узнают предметы на ощупь. Причем Гейде всегда помнит другую сторону легенды, вторую мышь из притчи, что умерла и испортила масло, которое сбила спасшаяся из молока первая мышь. Помнит, что счастливый конец сказки – лишь случай, и поэтому сочиняет серию сказок-неудач.

Существование – напряжение и тяжесть. Автор – на грани множества опасностей. Риск растворения в путевой прозе, в Живом Журнале. Риск снисхождения к нормальному взгляду. Риск утонуть в описании физиологии насекомоядного растения или рыб экзотариума зоопарка. Риск пересказа очевидного не преобразованного опыта, уклонения в стандарт детских переживаний. Риск растворения в мире, потери индивидуальности, превращения лица в ненужную маску. «Там, в сумерках, когда под мостом пузырится и пузырится, и мы под мостами превращаемся в пену морскую, нетвёрдую, лживую всеми цветами, кровавящуюся пену. Там, под мостом сглотнёт нас, не опознав, древняя кистепёрая рыба». Риск уравнения экстремального с обычным. Соблазн ухода от боли в мир без событий, в место, где человек считается несуществующим. Риск раздвоения. «В одном сне А. привиделось, что её тело это две переплетённые змеи. Вот они разъединились и поползли, каждая в свою сторону. Вместо одной А. стало две змеи. Ни одна из них не была А. в собственном смысле, да и не было у А. никакого такого собственного смысла, а у любой из двух змей, образовавшихся на её месте, он был. Так она ползла в разные стороны и ползла, пока не проснулась». Трудно избегнуть всего этого и многого другого – но тем ценнее момент, когда все же удается.

Многие финалы Гейде ироничны. «Так, как оно, положено держаться только смертным или бессмертным», – любому, значит? Главное – любовь к перемене. «Мы назовём вещи чужими именами. Мы встанем и скажем: вещи, не называйтесь впредь своими именами, вот вам другие имена. Пусть они вовсе вам не соответствуют, однако же могут придать вам если не веса, то хоть какого-нибудь достоинства. Если и не в наших глазах, то в чьих-нибудь других. Если вдруг другие придут, то, по меньшей мере, им будет приятно видеть знакомые слова, надписанные на незнакомых вещах». Незавершенность и неокончательность. Путь и рост продолжаются.

Александр Уланов

Бальзамины выжидают

I

Мышь говорит старухе

Мышь говорит старухе:

– Когда твоя плоть истлеет, когда стечёт в почву гроздьями зловонных мыльных пузырей, опасных для моего маленького нутра, когда перебродит отравленным соком, когда волокна тканей её расплетутся и смотаются в аккуратные клубки, я возьму твои тонкие звонкие кости, пустотелые, весёлые, как свирели, я стану играть в твои тонкие звонкие кости, как ветер, перебирающий колокольчики над порогом.

Твои тонкие, чистые, девичьи кости сойдут за украшение, сойдут за подношение, сойдут за приманку. Внутри тебя они вызревают, как ядро миндаля под жёсткой горькой кожурой. Там, внутри, сокрыта красота от кражи или порчи.

Звонкие, пустотелые, весёлые, станут кости твои чашей, венцом, ожерельем, крохотными застёжками для чьих праздничных одежд?

Сидит старуха как плод, выставленный на солнце, которое умягчит его, усладит его, так, что, стоит пальцами раздвинуть половины плода, и мякоть сама распадётся надвое и выпадут кости, чистые, лёгкие, сладкие как миндаль, которых мы ждём, на которые вострим глаза, которые являются предметом нашего предпочтения.

Смотрит старуха глазами, точно молоком убелёнными, не слышит. Мыши и рады, и шмыгают.

Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню

Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню. Правый её глаз из пуговицы в две дырки, зато левый в целых четыре. Если её натянуть на руку, то окажется, что внутри она вся пустая, выстланная мелкою водорослью, плачущая желтою слизью. Можно двигать в ней пальцами, и она будет как живая. Но всё, на что она способна, это несколько примитивных движений. Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню. За ней тянется маленькая ветхая ниточка. Левый её глаз проколот в четырёх местах, зато у правого острее зрение. Если её натянуть на руку, то согреешься в промозглую фригийскую зиму. Но всё, на что она способна, это несколько примитивных движений.

Две карлицы

Две карлицы, две крали на исходе дня прокрались в мой дом. То ли две сестрицы, то ли мать с дочерью, не разобрать. Их лица, вылепленные из жёваного серого хлеба, не имели возраста. Их впалые лица были как два зеркальца в виде чаш. Как два ласточкиных гнезда, свитые из рыб. Они задирали свои юбки из жухлого шёлка, они дрыгали скользкими жилистыми ляжками, они пугали меня своими гладкими лобками, проколотыми и изукрашенными дешёвыми цацками. Они шарились по комнатам в поисках чего бы украсть. Они хватали мои руки и вкладывали в мои ладони свои чахлые серые груди, мягкие, как мешочки с гречневой шелухой. Речь их была густа и комкаста, и нельзя было разобрать ни слова. То одна из них затягивала песню, а то другая хватала меня за лицо. Две карлицы, две лисицы пробрались в

мой дом. И хотя любая из них доставала мне едва до пояса, но если бы они схватили меня, одна за правую руку, другая за левую, но если бы они вцепились в меня своими звериными гнутыми коготками, но если бы они потянули меня одна в свою сторону, другая в свою, то, клянусь собакой, они разорвали бы меня, как письмо, пополам.

Пеликан

Розоватый пеликан, закинув голову на спину, окунает клюв в перьевой футляр своих сложенных крыльев, точно длинные тонкие щипцы провинциального цирюльника, и засыпает.

Раньше, бывало, длинными тонкими щипцами своими касался он кудрей Богородицы, завивал их в медные толстые кольца, нагрев на камне под полуденным солнцем. Толстыми учёными змеями лежали они на висках, сторожили дрожащую жилку, чтобы не убежала.

Богородица умерла. И все дети Богородицы давно умерли. Пеликаны сидят у воды, праздные, без работы, упрятав тонкие клювы в футляры. Сердца их, целые, не расклёванные, бьются ровно и мерно под пуховыми кашне.

Печальное вьючное животное

Печальное вьючное животное, преисполненное жреческого достоинства, несёт, не роняя, на изогнутой шее ковчежец, волшебное подношение. Ковчежец, целиком сработанный из кости, обшитый мягкою кожей, украшенный нежными, хорошо отшлифованными глазами цвета вишнёвой смолы. Такой смолою плачет дерево, уязвлённое стальным лезвием. Такую смолу жуют в жару, чтобы спастись от жажды. Печальное вьючное животное мерно перебирает мягкими замшевыми губами будто бы шарики чёток, за двумя рядами его жёлтых зубов, обтёсанных неряшливо, как орудия древних людей, свернулся и дремлет сторожевою змеёй вялый чёрный язык. Время от времени оно сплёвывает. Печальное животное, кому несёт оно свою голову, как торжественное подношение? Где сложит свой ковчежец, как священное подношение? Так, как оно, положено держаться только смертным или бессмертным.

У Святой Лючии две пары глаз

У Святой Лючии две пары глаз – те, которыми она глядит сквозь помеху вещей, и вторые, какими обносит собрание, точно угощает цветными леденцами. Святая Лючия машина, как и остальные, но машина зачарованная. Они подходят по одному или двое, осторожно берут с блюда глазное яблоко двумя пальцами, яблоко скользкое и тугое, взгляд, лишённый оправы, кажется ни на что не направленным. На вкус оно солоноватое и студенистое, как устрица, но лишено запаха. На блюде тотчас появляется другое. Теперь Дух может видеть тебя изнутри, как бы при помощи божественной эндоскопии. Святая Лючия машина, как и остальные, но машина бессмертная. Её глаза не иссякают. Такова сила убеждения.

Гранат

Смуглая, скруглённая, лопнула скула граната. Кожа его, сожжённая до красноты, разошлась ужасающим шрамом до самого подбородка, так что стали видны прикрытые белёсыми плёнками зубы – крохотные, утопленные в воспалённой пульпе, во много рядов, бессильные ухватить кого бы то ни было. Птицы, слетевшиеся на это зрелище, расклёвывают щёку граната, щиплют её своими маленькими клювами, так что она кровоточит и раскрывается ещё сильней, раскачивают плод величиной с голову новорожденного, как мячик. Потом налетает ветер, сду-

вает птиц. Лопнувший плод граната висит на ветке и скалится, отрубленная голова, вывешенная для устрашения неприятеля.

Глаз лошади

Осу прельщает блеск лошадиного глаза. Огромный и выпуклый, каждые несколько секунд увлажняемый хлопком огромного мягкого века, он служит для неё неотвратимой приманкой. Оса запускает свой хоботок в розоватую мякоть слёзной железы и втягивает в себя солоноватую жидкость, веко лошади судорожно дёргается, но оса слишком велика, чтобы быть раздавленной и стечь по скользкому желобку вместе со слезами, лошадь яростно дёргает головой, но оса слишком легка, чтобы её стряхнуть, она продолжает питаться слёзной влагой, которая от её усилий только прибывает, привлечённые запахом, слетаются другие осы, они облепляют лошадиный глаз со всех сторон, так что он становится мохнатым от шевелящихся прозрачных крыл. Ослеплённая лошадь мотает головой из стороны в сторону, веки её распухли и отказываются ей служить. Чем больше осы уязвляют её глаза, тем больше их воспаляют, скоро уже не слёзы, а сама глазная жидкость начинает стекать по желобам, лошадь в исступлении катается по земле, колотит головой по траве, чаши её глаз постепенно опорожняются, в них темно от ос. Так длится это пиршество, пока осы не добираются до дна. Тогда мелкокрылый рой их отлетает. Пустые глазницы лошади глядят, не моргая, как две прорехи.

Маленькая макака

Маленькая макака сидит на дереве. Фиолетовые пальчики, тонкие, скрюченные, как у старушки, что с годами съёживалась-съёживалась и, в конце концов, вместо того чтобы умереть, превратилась в обезьянку, не оставив после себя даже трупа, осторожно разламывают плод. Она движется всегда чуть-чуть быстрей, чем прицел невидимой винтовки, следящей за ней. Маленькая макака всасывается в мякоть плода, полностью поглощённая процессом питания, чёрная чуть вытянутая мордочка делается мокрой от стекающего сока. Сейчас, когда в прицел никто не смотрит, они случайным образом совпадают.

Рахиль

Спустя четырнадцать лет Иаков глядит на Рахиль. Груди её увяли и обвисли, взгляд потускнел, лёгкий пушок над верхней губой сгустился в отчётливые усы. Как тогда, его снова обманули: в первый раз подсунули вместо младшей сестры старшую, теперь же вместо прежней, его Рахили, другую Рахиль. Но той Рахили уже не заслужить, её больше нет, её умыкнули, на её месте вновь оказалась её другая, потайная старшая сестра. Иаков некоторое время стоит, замерев в раздумье, потом резко поворачивается и уходит прочь, по дороге задевая локтем идолов. Идолы падают, но не разбиваются, а остаются лежать на полу с ужасной ухмылкой.

Куст бересклета

Куст бересклета стоит голый, без листвы, украшенный лишь распахнутыми плотяными коробочками, из которых на тонких нитях свисают, покачиваясь, глазные яблоки величиной с горошину. Точно увидел вдруг нечто такое, от чего глаза вмиг повыскакивали у него из орбит.

Враги

Вот враг, ощерившись, идёт на врага, отравленный собственной слюной, сделавшейся горькой, как хина, однако вместо того, чтобы умерять жар, лишь раздувающей его. Из плевков такой слюны вырастают грибы, которые не станет есть ни одно животное, а человек, встретив, сшибает ударом ноги. Гнев ухаживается в телах врагов, как огонь в угольях, делает их во всём подобными друг другу, и как древние люди воображали, что огонь – живое существо, так и гнев, кажется, прорастает в мозгу и надпочечниках врагов, как щупальца одного спрута, что, играясь, сталкивает со стуком и треском свои деревянные куклы, пронизывает их красноватым мерцанием. От переполняющего их гнева враги становятся сперва красными и мерцающими, после чёрными и пустыми, наконец, обращаются в серебристо-белый пепел. Этим пеплом люди, не обуреваемые духом вражды, вымазывают себе лица и руки, дабы дух вражды удовлетворился этой малой жертвой и не тронул их.

Снег

Снег представляется роем мелкокрылых, мелконогих насекомых: лишённые чувствилищ; безвольные, несомые ветром и силой тяготения, они наделены единственной способностью наносить человеку или животному небольшие укусы, а затем тотчас гибнут, после смерти превращаясь в слезу. Если их много, а шерсть или одежда человека или животного скудна, то они могут за-жалить до смерти. Кожа человека сперва краснеет, точно от радости или стыда, потом бледнеет, как будто бы от ужаса, затем синеет, расцветает диковинными подкожными цветами; онемев, она утрачивает способность сообщать человеку или животному об угрожающей ему опасности, уступив право голоса иным превращениям, уже не имеющим непосредственного отношения к этому конкретному человеку или животному; лишившись имени, человек или животное обращается в поле извечной битвы, о которой прежде ему доводилось слышать от других людей или читать в книгах. Исход этой битвы предрешён, отчего вся она приобретает характер театральной постановки, где цель действующих лиц состоит не в том, чтобы достичь личной победы, а в том, чтобы ни на полшага не отступить от предписанной им роли. Зрителей у них не бывает, только свидетели, очевидцы, а значит, в какой-то мере, и соучастники. Но чаще всего такие вещи происходят без свидетелей, если только не почитать за таковых рой белых насекомых, каждое из которых в любой момент готово поступиться своей формой: для них умереть означает не более чем изменить агрегатное состояние. В сущности, это могло бы относиться и к человеку: ведь его имя – единственное, да и то чисто декоративное препятствие, стоящее между ним и пустотой. Он хватается за своё имя, непрестанно его повторяет, чтобы не позабыть, выставляет его как смехотворный щит или ритуальную маску, вплоть до того момента, когда вдруг отбрасывает его, как сделавшийся ненужным и бессмысленным предмет культа, у которого не осталось адептов.

Черепаха

Кроткая черепаха, старушка, сморщившаяся ещё до своего рождения, маленькая пленница, заключённая в объятья собственного скелета – как осторожно выпрастывает она свою чешуйчатую голову, оснащённую крепким клювом, как ручки-грабельки её рыхлят песок, когда она выползает погреться на солнышко, украдкой, как всё, что она делает, точно жизнь её принадлежит какому-то другому, всемогущественному существу, что смотрит сквозь пальцы на её возмутительный проступок, позволяя по крошке отделять и медленно разжёвывать тягучее время. Тот, кому принадлежит время, тот, кто создал его и оставил без присмотра, тот, для

кого любой наш проступок не составляет тайны, так что вкрадчивые повадки черепахи служат, скорее, для соблюдения приличия, чем для того, чтобы ввести кого-либо в заблуждение, – тот, кто не человек, и не зверь, и не время, и ни одна из известных форм жизни, давно перестал существовать, черепаха об этом осведомлена не хуже других, но ей приятно исполнять свой неуклюжий танец даже теперь, потому что она привыкла к нему, ставшему её другим, праздничным скелетом. Он хранит её хуже, чем первый, хищной птице ничего не стоит ухватить черепаху своим клювом-крюком, поднять её на невообразимую для черепахи высоту, от которой в её головке, втянутой внутрь панциря, полопаются сосуды, и, швырнув о скалы, расколоть панцирь, и тогда черепаха превратится в прекрасное блюдо, приготовленное в костяном горшочке. Также и человек, изловив черепаху, положит её в огонь, тогда жилы её полопаются, раскалённый панцирь, разогнувшись, станет плоским, как зеркало, человек положит тушку черепахи на её собственный панцирь, как на щит. Тогда беззащитная черепаха составит его трапезу. Где теперь её маленькая жизнь, если не перетекла в жилы человека, не стала частью его тела, не питает его и не служит к тому, чтобы поддерживать работу его членов? Или, быть может, она возвращается туда, где хранятся изначальные запасы времени, которое, побыв черепашьим, вновь стало ничьим и им теперь может воспользоваться какая-нибудь другая черепаха? Если черепаха начнёт думать об этом, её маленькая голова лопнет от натуги, поэтому она просто вылезла погреться на солнышке и щурит узкий зрачок, что придаёт ей необычайно сведущий и проницательный вид.

О смехе богов

– Или вы не знаете легенду о нашем с вами происхождении? В начале, говорят, были боги, они не были богами в полном смысле этого слова, то есть ни бессмертием, ни всемогуществом не обладали, но могли существовать неопределённо долго. И однажды они создали человека по своему образу и подобию, святое писание отражает этот момент, когда в нём говорится: «вначале сотворил боги небо и землю». Творение из глины обозначает, что тварь способна принять ту форму, которую одну только и знает, поэтому всякий человек принимал форму того божества, которое считал своим хозяином. В часы (или, лучше сказать, века, ибо речь, всё-таки, идёт о богах) праздности боги собирались в круг и усаживались, заставляя своих кукол изображать различные сценки для собственного развлечения, сами же оставались безучастными к происходящему, не испытывая ничего, кроме лёгкого любопытства, в то время как их создания воображали, что их поведение может быть богам угодно или неугодно, или что они способны испытывать к ним любовь или ненависть, или даже что какие-либо из них служат объектом преимущественного интереса с божественной стороны, в этих точках повествования боги обыкновенно смеялись, но смех этот был беззвучным и лишь отдельными, особо тонко выделанными человеческими особями воспринимался как некие лёгкие вибрации, они называли это «вдохновением», «экстазом» и признавали за этим явлением божественное происхождение, в чём не заблуждались, однако не умели правильно трактовать это явление, что служило причиной целого ряда комических недоразумений. После боги то ли умерли, то ли превратились в камни, то ли впали в анабиоз – никто в точности об этом не знает, только смеха их давно уже никто не слышит. Однако человек – существо зависимое и по сути своей марионеточное – сохранил воспоминание о смехе богов, он тоскует по нему, по его пугающей щекотке, особенно в такие дни, когда светит полная луна или когда она поворачивается к людям своей тёмной стороной и её не видно.

Лезвие

Лезвие, входящее в плоть, бессильно разорвать её поверхность, оно лишь вызывает к жизни новые поверхности, до времени сокрытые в её толще. Так они раскрываются, разворачиваются, выпрастываются, словно лепестки, так тело, охваченное цветением, преображается, изумлённое тем, чем, не ведая того, было богато. Как оно выгибается, точно вишня, тяготящаяся своей невесомой благоуханной ношей, как силится развязать узлы ветвей своих, чтобы освободить припрятанную в нём память об ином, прежнем существовании. Так фигурка, скрученная из тряпицы, гордится своей формой, воображая, что она и есть её подлинная сущность, явленная ей самой, но откуда ей знать, в память о каком событии был завязан этот нелепый узелок? Если дёрнуть за один конец, если потянуть, если расправить и разгладить эту ткань, то в ней самой не будет содержаться ни намёка на самонадеянность куклы. Ткани её пропитаны страхом и сделались жёсткими, как бумага, но он выпаривается без остатка в тот момент, когда иссякает надежда. Вот он, мелким потом высыпавший на коже, его можно аккуратно подобрать языком; соприкоснувшись с воздухом, он делается безвреден. Что теперь такое тело животного или человека? Оно легко исторгло из себя память о том, как было телом животного или человека, и какого животного, и какого человека, теперь оно может цвести, как всякая вещь, вступившая в пору цветенья. Теперь оно вспыхнуло и вот пляшет, как язык пламени на ветру, то вздымаясь, то опадая, всё безобразное, что было в нём, расправилось, сгладилось, всё оно теперь – воплощение того совершенства, о котором грезило, пребывая во сне формы.

Дети хоронят жужелицу

Нежное и торжественное шествие. Гроб – коробок, лепесток цветка – погребальный покров. В гробу лежит жужелица. Мы не видим её лица. Наша печаль сладка. Мы обнаружили жужелицу на ступеньках крыльца. У неё нет ни матери, ни отца. Покрышки её хрупнули, газовые крылышки выпрастываются из-под них, как смятые нижние юбки. Печаль наша легка, не тяжелей спичечного коробка, несущего её насекомое тело. Здесь, в ямке под яблоней, в которую мы прошепчем секретное слово, тайное желание, и присыплем его землёй. Здесь, под яблоней, зарыто много таких желаний. Иногда некоторые из них сбываются. Вряд ли здесь можно усмотреть какую-либо связь или закономерность.

Сом

Сом, запутавшийся в травах на мелководье. Не трудно, изловчившись, поймать его руками. Скользкий, склизкий, он бьётся в моих ладонях, всем своим телом являя негодование. Вдруг он выскальзывает, и я вновь шарю руками, путаясь в мокрых травах, пока не ухватываю его прямо под жабры. По тяжести он сравним с семилетним ребёнком, удары его хвоста не болезненны, однако ощутимы. Вот я поймал его и прижимаю к своей груди, слышу удары холодного рыбьего сердца. Рыба то расширяет, то сжимает жабры, её рот раскрывается, принимая форму буквы «О», о которой нам, по правде говоря, мало что известно. Тщетны их трепыхания. Сом не умирает, но засыпает. Страх, которым пронизано его тело, сделает волокна его тканей чуть более жёсткими, печень его расширится и сделается более приятной на вкус. В какой-то момент, быть может, в тот самый, когда закатятся глаза сома, я чётко различаю в своём сознании его имя. Кажется, оно совпадает с моим собственным. Я не думаю больше об этом, иначе у меня отвалится голова. Я беру сома и несу его в дом. Там моя мать как следует его зажарит.

Сколько душ у сороконожки?

Сколько душ у сороконожки? Или ни одной, или, по меньшей мере, по одной на каждую пару ног. Первая пара – её рот, жадный до всего живого, последующие же – сёстры-приживалки, весталки, не обученные никакому ремеслу, кроме как прислушиваться к чаяньям и ярости первых двух. Сколько душ у сороконожки? Если поглядеть, как она, целая, расправляется с целой змеёй, то можно обмануться, можно прийти в смущение, можно отдать должное этому вёрткому, хорошо сочленённому тельцу, можно признать её достойной занять своё место в пантеоне разумных нововведений. Но если выбрать момент, если подкрасться, если притаиться, то можно услышать ропот завистливых и угнетённых сестёр, когда старшая пара уснула, можно в её ладно подогнанных сочленениях такой плач услышать, что и камни произведут сыр.

Во влажной земле отверженных

Во влажной земле отверженных. Там их хоронят. Близнецов, двухголовых, трёхногих, двуснастных и вовсе бесполых, двутелых, и тех, у кого под лопатками находят зачатки крыльев, и тех, у кого одна половина лица вечно смеётся, а другая плачет, всякую игру природы, принимаемую за знак божественного неудовольствия. Земля эта жирна и так мокра, что, наступив, рискуешь промахнуться мимо собственного следа. Их погружают в почву вниз головами, без погребальных уборов, только зажимают в шестипалой ладони глиняный черепок: там, в мягком дымном свете адского мира, говорят, тоже требуют некоторую плату за вход, как в вагоне самого распоследнего класса, без поручней, где так качает, что устоять можно лишь опираясь на соседа, такое же ошибочное существо. Во влажной земле отверженных тела не разлагаются, а обращаются в мыло, и в этом также видят признак божественного неудовольствия: даже такая земля отказывается их принимать. Как бедные сардинки, принуждены они веками зависать во влажной земле отверженных, точно в масле; тот, кто решится съесть какую-нибудь их часть, говорят, обретает способность понимать голоса насекомых, змей, сколопендр, людей с пёсьими головами, голландцев и черепах. Правда, всякий, кто с ними заговорит, рискует сам угодить во влажную землю отверженных, во всяком случае, заупокойной службы по нему служить не станут и почётное право передать свою нижнюю челюсть безутешной вдове также для него закрыто. Говорят, что можно оживить такой мыльный выкидыш при помощи особенного механизма, он сможет двигаться, разговаривать и размножаться делением, как шарик пчелиного воска, если его разделить пальцами. Некогда дьявол или его временно исполняющий обязанности слепил себе целое потешное войско, и так на свет произошли цикады. А может быть, цикады произошли совсем по другой причине. Как бы то ни было, влажная земля отверженных – отличное снадобье, помогающее от змеиных укусов, ночных кошмаров, а так же тех, что снятся в полдень и всегда исполняются ровно через три года, от болезней, поражающих все органы, расположенные с левой стороны, и тех, что передаются через взгляд или плевок, в особенности женский или детский. Поэтому, в общем и целом, ужас, внушаемый уродцами, содержит в себе некоторую долю приятности.

Голова хвоста

У представителей одного из боковых ветвей рода человеческого, произошедшего от скрещивания человека и определённого отряда Сынов Неба, имеется хвост. Длинный и гибкий, лишённый волосяного покрова, он заканчивается маленькой змеиной головкой, снабжённой ядовитыми зубами. С самых малых лет ребёнка обучают владеть хвостом и управлять его волей: мозг хвостовой головы крошечный, как у змеи, зато обладает стремительной реакцией,

так что большая часть потомства гибнет в смертоносной схватке, не успев научиться внятно излагать свои мысли. Хотя голова хвоста имеет определённую автономию, всё же у его обладателя сохраняется ощущение, что он воспринимает мир одновременно из двух точек: из своей собственной головы, закреплённой на шее и имеющей ограниченную способность поворачиваться справа налево и сверху вниз, и из головы хвоста, которая свободно поворачивается во все стороны при помощи подвижного, гнущегося во все стороны хвоста. Способностью к речи, однако, она не обладает, и может лишь выражать чувство неудовольствия (тогда она шипит и дёргается из стороны в сторону), удовольствия (тогда она сворачивает хвост в кольцо и жмурится), подозрительности (тогда хвост напрягается и выгибается дугой) и другие нехитрые эмоции. Несмотря на это, человек и его хвост всё-таки являются единым организмом. Между человеком и его хвостом не всегда царят мир и согласие: так, люди могут симпатизировать друг другу, а их хвосты находиться в жестокой вражде, или наоборот. Иной раз, если человек недостаточно овладел искусством управления хвостом, тот может восстать против владельца, однако случаев, чтобы хвост укусил человека, не наблюдается: своими крохотными змеиными мозгами он всё-таки понимает, что умертвив хозяина, он и сам погибнет, поскольку они являются одним живым существом. Хвост может резким движением в сторону сбить хозяина с ног, или путаться у него в ногах, мешая ходьбе, или постоянным шипением мешать ему спать, или кидаться на хвосты других людей, желая их укусить, – словом, создавать хозяину множество неприятностей. В других случаях между хвостом и его владельцем наблюдается что-то вроде привязанности, которая возникает у домашних животных и их хозяев. Хвост может на свой лад заботиться о человеке и выражать беспокойство, если тот чем-нибудь озабочен. О человеке гневном, вспыльчивом, не умеющим контролировать свои эмоциональные проявления, говорят: «он стал своим хвостом». О тех, кто имеет кроткий и незлобливый нрав (а таких немного) – «он точно бесхвостый». Однако всерьёз ни один человек никогда не пожелает лишиться хвоста. Если в результате несчастного случая хвост умирает, то его хоронят с такими почестями, которые подобали бы человеку, а сам человек погружается в скорбь, потому что больше не может считать себя полноценным. Даже если хвост совершит убийство, то человека изгоняют, однако же не лишая при этом хвоста. Если убийство совершает сам человек, то он всегда норовит свалить вину на свой хвост: кто может сказать с уверенностью, родилась ли мысль об убийстве в его собственной голове или же это происки глупого хвоста? Считается, что потомки людей и Сынов Неба сами не способны к проявлению дурной воли. Справедливо ли это? Мы и этого не можем утверждать с уверенностью. Возможно, иные из них так дурны, что их собственный хвост добродетельней их самих.

Бальзамины выжидают

Устья бальзаминов истоптаны шмелями. Те же легко умещают свои мохнатые тельца-переносчики в их распахнутых зевах. Открахмаленный капкан из нежной ткани то ли захлопнется, то ли будет разорван в клочья, но это длится не долее секунды. Их галантерейная покорность граничит с полным безразличием. Это лишь видимость. Они выжидают. Вызревают их продолговатые плоды, пока не сделаются настолько высокомерны, что и не тронь их. Impatiens. От малейшего прикосновения моментально выстреливают сухой дробью. Ветер коснётся их, и серия крошечных фейерверков прокатывается по зарослям. Такова их расточительность. Но и в ней заложен хитроумный расчёт. С каждым годом площадь, которую они населяют, становится несколько больше. Медленно заполоняют собой лесное пространство, потряхивая тряпичными кошельками, которые, несмотря на кажущуюся хрупкость, выдерживают вес шмеля и иных лесных чудовищ.

Лягушка

Маленькая изловленная лягушка сперва пытается выбраться, просовывая свою скользкую мягкую голову, способную сплющиваться до почти плоского состояния, сквозь пальцы, сколь бы крепко вы их не сжимали. Наконец вы надёжно заперли её в непроницаемом коробке, сработанном из двух ладоней, как в темнице. Если теперь вы раскроете ладони, то лягушка останется сидеть в оцепенении, вперившись в пространство неподвижными зрачками, узкими и чёрными, как пуговичные щели, только по мерно раздувающимся бокам и горлу можно судить о том, что она жива. Она обращается в небольшое нательное украшение, выточенное из змеевика. Отпущенная на волю, ещё с минуту движется как бы в замедленной съёмке, но затем быстро обретает прежнюю подвижность.

Древесный гриб

Тут и там к коре дерева накрепко прирос древесный гриб. Поверхность его ноздревата и с серебристым отливом, как хорошо выделанная замша. Он может сойти за некоторый вынесенный за пределы тела дерева орган обоняния или осязания, хотя несоприроден древесине и являет собой некий застывший в материи эксцесс. От древесного гриба исходит сытный сырой запах, сближающий его со съедобными грибами. Кора дерева, медленно возносящая ввысь скопища древесных грибов, словно отметины, свидетельствующие о её земном происхождении, ближе к вершине делается почти гладкой, шелковистой, от неё отслаиваются тонкие листы, испещрённые нечитаемой арабской вязью, оставленной жуками-древоточцами, точно она книга или притворяется книгой.

Грибы имеют двойников

Грибы имеют двойников. Ядовитый гриб прикидывается съедобным, хорошо изученным и опробованным, для одному ему известных целей. Съедобный гриб, в свою очередь, прикидывается ядовитым для того, чтобы его не тронули. Природа вся как будто бы перемигивается нескончаемыми цепочками уподоблений, каждое из которых имеет своей целью либо причинить ущерб, либо избежать его. Имена, которые могли бы здесь быть в ходу, всегда имена родовые, не привязанные к ежесекундно разрушаемому и всякую минуту возрождаемому единичному индивиду: имя это, как грибница, скрыто глубоко под землёй и его протяжённость не сопоставима с крошечным эксцессом гриба.

Спрут

Гигантский спрут, восьмирукая чернильница. Два его сердца раздувают мехи жабр, чтобы прогонять тяжёлую воду сквозь складки и сборки гигантского мешка. Третье подобно человеческому. Глаза его устроены так, как у людей, но с козьими вертикальными зрачками, они способны различать лица других спрутов.

Иной раз на верёвках спускают амфору, чтобы поймать в неё спрута, но в другой раз, когда нужно извлечь из воды затонувший сосуд, то берут спрута, опускают на дно и, когда он отыщет её и заберётся внутрь, вытягивают амфору. Он любит селиться в узкогорлых предметах.

Спрут, как мы, от страха бледнеет и от гнева багровеет. Пищу на вкус ощущает руками, точно весь он – один ветвящийся язык. Вещи с его точки зрения делятся на горькие, сладкие, солёные, острые и умозрительные – т.е. те, которые никакого вкуса не имеют вовсе.

Скрываясь, спрут пишет по воде чёрным, а раненый, умирая, – голубым. Всякий человек, съевший осьминога, приобретает часть его свойств. Люди, которые живут близ южных морей и постоянно употребляют в пищу осьминогов, ослепнув, продолжают свободно ориентироваться в пространстве, мгновенно узнавая предметы на ощупь. Те, чьё зрение сохранилось, способны различать предметы в темноте и источать слабое свечение, по которому их опознают другие люди, любящие осьминогов. Ночами в пригородах можно заметить странные очаги неонового света – это любители осьминогов собираются для молчаливых бесед.

Скорпион

Сладко также смотреть на скорпиона. Сей достойный представитель арахнид воздевает могучие шоколадные клешни полувоинственным-полужреческим жестом, одновременно изгибая хвост, весь из перетянутых в ниточку сочленений. Темнокожий, лоснящийся маслом и избытком собственного мужества атлет. Жало его изогнуто, и весь он точно живой приоткрытый свиток. На просвет скорпион полупрозрачен, на ощупь почти невесом. Умерев, становится сух, лёгок и почти не подвержен тлению. Только еле уловимый запах (сухой лист с примесью чего-то сладковатого) доказывает отсутствие в нём жизни.

Аксолотль

Слово «аксолотль» буквально переводится как «водяная игрушка». Это и понятно: аксолотль так же мало похож на серьёзное земноводное, как человек – на серьёзного примата. По аналогии его можно было бы назвать игрушкой воздушной. Когда настоящие люди случайно встречают человеческих аксолотлей, то не могут поверить, что эти существа одного с ними вида, способные самостоятельно дышать, целоваться, фотографировать, чистить овощи и заниматься кибернетикой. Обыкновенно взрослые особи не убивают человеческих аксолотлей, поскольку те напоминают им собственных детёнышей, но нередко оставляют их в качестве домашних питомцев. Жизнь пленного аксолотля не лишена приятности, они скоро привязываются к своим хозяевам, хотя и в мыслях не держат, что между ними возможно какое-либо родство, потому что если человеческий аксолотль напоминает взрослой особи о её детёнышах, то сама взрослая особь вовсе ни на что не похожа: она полностью покрыта чешуйками из ороговевшей кожи, не имеет ни волос, ни бровей, имеет шесть пар глаз по периметру головы и ещё три дополнительные под мышками, в подколенных впадинах и в паху, лишена пищеварительного тракта, свою скудную пищу перетирает в ладонях и ступнями ног, большинство основных жизненно важных функций, включая размножение и смерть, вынесены за пределы тела отдельной особи, происходят в специально создаваемых для этого резервуарах и фактически не затрагивают их существования.

Хамелеон

Кожистые глаза, просверленные взглядом. Их дикие, нарисованные поверх чешуй, ухмылки. Зазубренные шероховатые горбы и устрашающе вздетые роговые выросты, одновременно вспарывающие пространство и сливающиеся с ним, липкие изогнутые языки. Хамелеон на ощупь шершав и напоминает камень, сгруппировавшийся перед прыжком. Именно это ощущение *подвижного камня*, то ли живого, прикидывающегося неживым – но не мёртвым, то есть не чем-то, прежде обладавшим и впоследствии лишившимся жизни, а именно неживым и никогда не жившим, то ли, напротив, живого, перенявшего повадки неживых, а вовсе не знаменитая способность менять цвета делает вид хамелеона таким чудовищным и одновременно завораживающим.

Цикламен

Цикламен отцветает на свой лад. Он не роняет лепестки – цельнокроенные, схваченные в середине фестончатым упругим кольцом, – а разом сбрасывает весь цветок, который, отринутый, валяется, как шёлковое нижнее бельё, в ожидании, что его потом когда-нибудь подберут, отдадут в стирку, высушат на вкусно пахнущем сквозном воздухе, после чего отутюжат и снова введут в обиход. Обыкновенно этого не происходит. Цветок с виду почти неношеный и свежий. Можно только подивиться доходящей до крайности щепетильности цикламена. Оставшиеся три цветка, ещё молодые, собраны в щепоть, точно собираются осенить себя троеперстным знамением, дабы почтить память собрата. Весь развернувшийся к стеклу, прилипший к нему своими сердцевидными тёмными листьями, цикламен игнорирует обитателей комнаты, от которых зависит, хватит ли жидкости, чтобы напитать его стебли, крепкие, имеющие под тонкой кожей клейкий безвкусный мармелад. Он целиком поглощён зрелищем внешнего света, или, вернее, поглощает его, перегоняя в чистейший густейший зелёный цвет. Ради этого свойства, а также способности производить и время от времени сбрасывать белые галантерейные принадлежности (странно даже вообразить себе форму существа, которому они пришлись бы впору), ему прощается его чисто вегетативное высокомерие и относительная краткость жизни.

Деревья, поваленные бурей

Деревья, поваленные бурей. Их кожура, слоящаяся, точно старая бумага, сквозная на просвет. Их розоватая, отдающая на вкус смолой древесина – точно мясо некоей большой птицы, давно вымершей и оставившей от себя лишь жалобный скрип. Полунагие сломленные сосны лежат на дороге, заламывая дюжину своих замысловато изогнутых рук. Кора их так нежна и податлива, как кожа змеи, и так же неохотно хранит следы человеческой ласки: её запах забивается в поры, не даёт продохнуть, отнимает имя и всё, что ему способствует.

Муравей размером с букву «Ж»

– Я только что придумал стихотворение. «Вот муравей, размером с букву *“Ж”*». *Гляди, такое впечатление, что он читает книгу, так долго по ней бегает.*

– Он её и читает. Только своим каким-то причудливым способом.

– Так и нужно читать Бейтсона.

Муравей, обнаруживший своё сходство с начертанием литеры, верно, был бы очень сильно изумлён, если только подобные чувства пристали муравьям. Возможно, он воспринял бы это как знак, да это ведь и был знак. Предназначен ли этот знак для него? Или, быть может, он ощутил бы священный ужас от предположения, что он сам, крохотное насекомое существо, спешащее по своим делам и наткнувшееся вдруг на кипу гладких, испещрённых неясными каракулями листов, отличных по своей структуре от привычных ему листьев растений, листов, в которых не течёт прозрачная вязкая жидкость и которые поэтому легче признать мёртвыми, – что он сам лишь прообраз одной из целого ряда чёрных закорючек, складываемых в те или иные группы сообразно неизвестному ему принципу? И тогда метание муравья по странице книги – не просто набор хаотичных движений, но стремление переписать повествование, внести в него некоторое недоступное для него самого сообщение, которое в конечном итоге призвано засвидетельствовать его существование. Если бы бог или боги существовали или хотели бы говорить с человеком, возможно, их речь была бы столь же бессмысленной и причудливой. Но бог или боги имеют не больше охоты беседовать с людьми, чем муравей телеграфировать

им при помощи движений и покоя своего крохотного тела. Есть, однако же, некая тайна в том факте, что его размер в точности совпадает с размером литеры, которой обозначается звук «Ж».

II

Человек и растение

Человек кормит растение фиолетовым корчащимся червем. Растение плотное, с вощёной гладкой кожицей, под ней крутое желе в прожилках. Оно разевает рот навстречу корму и с сухим щелчком захлопывается на все восемнадцать булавок.

Не говорит и не ходит. А когда бы говорило, то язык его был бы столь скуден, что своим видом оно бы могло рассказать больше и выразительней. Оно умеет жить и питаться. Оно право.

(Медузы своими двадцатью четырьмя глазами способны отделить тёмное от светлого, как если бы присутствовали при первом дне творения и застыли в нём навсегда).

Человек кормит растение червем, живое живым в гораздо большей степени, однако к живому в меньшей степени человек привязан, а к живому в большей степени не привязан. Червь умеет отличить твердь земную от тверди небесной, как если бы присутствовал при втором дне творения и застыл в нём навсегда, предпочитает земную; половина червя остаётся жить, другая через какое-то время станет частью метаболизма растения, из одной жизни стало две, из двух жизней осталась одна, и нельзя сказать, были это две разные жизни или одна и та же, умноженная простым удвоением.

(Так и у медуз: часть жизни они живут, как полип, прикреплёнными к поверхности и бесполыми, а после, расслаиваясь, живут неприкреплёнными и двуполыми. После цикл возобновляется. Прозрачные мощные мускулы, непрестанно фильтрующие воды сокращениями двух своих шевелящихся юбок.)

Растение питается ртом и корнями. Корней у него немного. Там, откуда оно, почвы мало и она скудна. Лицо его всегда сохраняет одно и то же выражение: смесь жестокости, невозмутимости и беззащитности, свойственную всем физиономиям, от природы лишённым глаз.

(Тогда господь нагнал на человека сон, и когда тот уснул, вынул ему ребро и создал из него ещё одного человека, не мужчину, а женщину. Однако первый человек до конца не пробудился ото сна и другого человека видел словно бы сквозь дымку или марево, так подействовал на него божественный наркоз. Следы этой головокружительной операции сохранились у потомков первых людей вплоть до наших дней как некий первозданный морок.)

Ни одному животному, кроме человека, не было запрещено есть плодов от древа познания, поэтому многие их ели безнаказанно и не были отвергнуты богом. Человек кормит растение, потому что признаёт в нём высшее, гораздо более мудрое существо.

(Люди в свой срок рождаются на свет, но в этом племени раз в несколько поколений появляется одна какая-нибудь женщина, в чреве которой ребёнок развивается семь или восемь недель, а после прекращает рост. Их называют «вечно ожидающими», окружают большим почётом и наделяют магическими свойствами, в частности способностью совершенного знания, поскольку они сочетают в себе две жизни – человеческую и такую, которая замерла между человеческой и животной. Их сны записывают, не пытаясь истолковывать их. Рождение для них является не злом, но признаком вырождения: животное может выжить без других животных, а человек не может. Они с почтением прислушиваются к движениям этой, в сущности, раковой опухоли, которую ни за что не позволят удалить; умирают высохшими, пожелтевшими, полностью высосанными высшим и непостижимым для них существом, в страшных муках, но с блаженной улыбкой.)

Море

…Волосатые скользкие плиты на близком дне, серые округлые гальки, точно отложенные тучей каменных птиц. Вытащил из воды, и солнце мигом слизало с гранитного осколка всю привлекательность, остался камень как камень.

Только очень немногие люди, выйдя из воды, остаются красивыми. Верно, сама их кожа состоит из крошечных сот-ловушек, удерживающих воду, так она в них и остаётся жить и разговаривать. Когда они умирают, ловушечьи жвалы расслабляются, и вода, вольная, возвращается в небо, а после назад, в море, оставляя за собой тоненькую корочку соли, поэтому те люди не тлеют, лишь ссыхаются.

(Так хотелось думать. Вообще же думать хотелось не очень. Солнце что-то такое делает с человеческой головой, что несколько часов кряду можно жить как животному, притом не самому сообразительному. И весь берег, как противень, выложен плохо подошедшим сырым тестом их тел. Придёт, кажется, большая волна и слизнёт. Только песок на зубах хрустнет. Так хотелось думать.)

Дети вылавливали медуз и наблюдали их таянье. Сосредоточенно, точно маленькие учёные. Один придавил её камнем, другая жеманно тыкала пальчиком. Медуза была засланцем небезопасного чужого мира, не умела говорить и смотреть, из неё не текла кровь. Сгусток солёной воды, вот что она была такое. Не человек и не зверь, а словно бы приобретшая плотность тень. Сжимается и разжимается, как некоторое отдельное, полупрозрачное, холодное не пойми чьё сердце. Потом подошёл взрослый и сковырнул его в воду палкой.

Зимой, подумал мальчик, море не замерзает, а превращается в студень. В рыбное заливное. Приходят люди, отрезают большими ножами и так питаются до самой весны. Летом съеденное опять отрастает, потому что зимой люди едят море, а летом море ест людей.

…В первый раз заплыл так, что не видно берега. И берегу его не видно. Огляделся: «такой, верно, видел бог землю, когда творил её. Никому не видной». Синий морщинящийся шар с жидкой кожей, укутанный тоненьким, в два пальца, небом. Тогда ещё ни рыб, ни организмов, ни трав, только вода, но какая вода? Та вода другая, живая, один глоток выпьешь и процветёшь, как пруд, заведутся в тебе малые земли. Один человек-левша ходил по городу, никогда не разжимая правый кулак, потому что был там маленький город с башнями, садами, горожанами и даже уличными собаками, никому никогда не подавал руки и прослыл угрюмым мизантропом, и под конец в приличные места его звать перестали, а в неприличных всегда была вероятность ввязаться в какую-нибудь историю. В море человек гол и невесом, море им играет, снизу поддерживает тупым полумягким носом, как мячик. Человек существо пустое, легче воды, и сама вода его тела слишком легковесна, будто бедная родственница той, большой воды снизу и всё время за человечка просит. Из этой, нашей человеческой воды на небе получаются особые сизые облака, что на крылья похожи и всё время складываются в разные нелепые картинки. На них наблюдатель смотрит, когда устаёт наблюдать и хочет поразвлечься чем-нибудь несущественным. Вот для этого мы тут, не для чего-то, как нам мнилось, своего. А что он там наблюдает – бог весть.

…Н. пишет, что рядом океан. И что купаться в нём небезопасно – демоны заберут.

Океан их живой и густонаселённый. В шуме его явственно прослушиваются голоса. Какие-то сведенья, не потайные, выложенные на поверхность, но вовсе недоступные человеческому пониманию. Так могли бы говорить дельфины или ангелы, которым знать ничего не требуется, потому что всё знание дано им сразу и насовсем, поэтому они просто лепечут для собственного удовольствия, чтобы прощекотать горла. События? Не бывает у них никаких событий, не ждут они новостей, потому что ведь всё, что могло случиться, уже случилось, и даже то, что не могло случиться, случилось тоже. Но и старости тоже не бывает. Они как

море, ходят в себе самих, там холодны и темны, там прозрачны и в брызгах. В ветреную погоду выскакивают в воздух стеклянными плетьми, и если зазеваться, то хлестнёт по лицу солёным и холодным: это демоны веселятся.

Ребёнок входил в воду, стоял, ждал: вот бы забрали. Подарили чешуйчатый хвост, с гребешком, с концентрическими роговыми защёлками. Чтобы ни людей вокруг, ни происшествий. Подарили только лиловую шероховатую гусиную кожицу и небольшую «температурку».

(Нужно чем-то их улестить, умилостивить. Под вечер выбрался и тайно вылил в море чашку молока. Море восклубилось, а потом быстро облачко рассосало. Задумал: если каждый вечер его приручать, то оно, в конце концов, привыкнет и, может быть, будет натекать к самому дому, под окна, когтить ставни. Из этой затеи, однако, ничего не вышло – вероятно, море не очень любило молоко или добывало его из каких-то других, более надёжных источников.)

То, что у этой большой тяжёлой воды непременно была какая-то душа, не вызывало ни малейших сомнений. Она была живая и двигалась не потому, что нечто извне вынуждало её – она ведь не стекала сверху вниз, как водопад, у которого никакого о себе самом мнения быть, конечно, не могло, не стремилась ни к какой цели, как ручей, но двигалась сама по себе, по собственному желанию. Она была каким-то образом связана с луной, и это было очень странно, потому что на луне, говорят, тоже есть моря и океаны, однако пустые и явленные одним лишь рельефом. Возможно, море на землю явилось именно оттуда. Но сохранило память и от воспоминаний расширяется.

В Море Мечты нет никакой воды. И само это море – одна фантазия того, кто его так назвал (так он подумал, когда был уже несколько старше).

Записки из царства мертвых

Х. вернулся из царства мёртвых, куда пробрался мы вам не расскажем каким способом, скажем только, что он отправился туда для того, чтобы разыскать свою умершую сестру и выяснить у неё одну вещь, которую, пока она была жива, всё не удосуживался узнать, а кроме неё, об этом не знал ни один человек на земле. Ведь всякий человек на земле знает какую-нибудь одну такую вещь, которую, кроме него, никто не знает. Скажем сразу, что сестру он не нашёл. Наивные смертные полагают, что отыскать мёртвого в царстве мёртвых так же легко или, во всяком случае, так же тяжело, как живого на земле. Разумеется, не так же, но на несколько порядков сложнее: ведь если в царстве живых в настоящий момент присутствуют все те, кто сейчас жив, то в царстве мёртвых одновременно существуют все люди, когда либо жившие на земле, а так же и те, которые когда-либо будут жить, так что отыскать там кого-либо даже не так сложно, как иголку в стогу сена, а как соломинку в том же стогу. Х., однако же, удалось сделать ряд наблюдений, опровергающих некоторые предрассудки, имеющиеся у живых по поводу царства мёртвых.

Считается, например, что в царстве мёртвых нельзя смеяться. Это не совсем верно: смеяться в царстве мёртвых не возбраняется, и поначалу, оказавшись там, только что умерший человек то и дело над чем-нибудь потешается. Сперва над самой идеей смерти (с непривычки эта процедура, столь переоцененная в мире живых, действительно кажется до того ничтожной, что не может не вызывать естественной усмешки). Потом над живыми, которые там, в мире живых, продолжают верить в это пугало и ему ужасаться. Потом над оставшимися мёртвыми и их укладом. Но, в конце концов, он привыкает к этому и всему остальному и больше уже не смеётся, а разве что изредка усмехнётся, и то чисто механически.

Далее, существует идущий от Гомера предрассудок, будто бы мёртвые суть некоторые бесплотные тени, лишённые памяти, истёртые до неразличённости, прозрачные, как ветошь. И это не совсем так: среди мёртвых встречаются и сильные, полнокровные особи, способные радоваться смерти от чистой души. Но, впрочем, таких немного. Дело, скорее, в том, что, обла-

дая неограниченными возможностями путешествовать по своему прошлому взад и вперёд, задерживаясь в любом месте на сколь угодно долгий срок, мёртвые скоро теряют к нему интерес, исследовав его до мельчайших закоулочков, так что даже самые сладкие воспоминания не вызывают больше трепета, а самые жуткие – содрогания. Пресытившись собственной памятью, мёртвые вскоре совсем её оставляют и существуют просто как вещи, не имея ни воспоминаний, ни предвкушений, ни страданий – словом, ничего такого. Друг с другом они сообщаются редко – главным образом, потому, что, оставив свою память в покое, вполне в этом друг другу уподобляются и, следовательно, ничего нового друг другу сообщить не могут. Некоторые из них, впрочем, группируются в аркады по принципу своеобразной симпатии, иные предпочитают существовать отстранённо, хотя вокруг постоянно присутствуют другие мёртвые, – но, как мы уже сообщили, слово «другие» применительно к ним является не совсем точным. Почти неподвижные, зависают они в мутно освещённом от неизвестного источника пространстве, лишь слегка покачиваясь сообразно своей привычке, и эти движения, никак не согласованные друг с другом, сливаются в особый *серый шум*. Он несколько подобен белому шуму, известному в мире живых, но, в отличие от него, ощущается как слабая вибрация, доступная осязанию, однако неразличимая для слуха. Открываются у мёртвых и некоторые особые органы чувств, коими живые почти никогда не обладают, но о них мы вам не можем сообщить ничего определённого, поскольку в языке живых нет для этого никаких подходящих слов и выражений.

Из всего сказанного выше уже можно понять, что мысль о какой-то особенной враждебности мёртвых по отношению к живым также является чисто житейской выдумкой, не имеющей ни малейшего отношения к действительности. Верней будет сказать, что мёртвые к живым попросту безразличны. Живой для них – что-то вроде заблудившегося отражения. Источник этого отражения (то есть он же самый, только уже мёртвый) от века присутствует в царстве мёртвых, хотя отыскать его там так же трудно, как любого другого, и случиться это может разве что в результате удивительного стечения обстоятельств, – но и тогда мёртвый не проявит особого интереса к себе самому, ещё живому, но сочтёт эту встречу странной аберрацией наподобие дежавю, как мы его понимаем в мире живых. Для мёртвых же такие фокусы – дело рутинное и давно опостылевшее. Так что в ответ на удивлённый взгляд живого, в котором попеременно борются узнавание и недоверие, тот же самый, но мёртвый будет лишь продолжать мерно покачиваться и ничего более.

Московский зоопарк, Экзотариум

Мурена, пошитая из пятнистого чёрно-белого плюша, продёргивает мягкую ленту своего тела сквозь арку искусственного грота. Соорудила из себя подвижную петлю и застыла с приоткрытым ртом. Крылатка-зебра, оттопырив спицы всех своих китайских зонтиков, полощет полосатое шёлковое тряпьё, раздувает жабры, колышется, превращаясь в марево, только глаза, чёрные и неподвижные, точно пришитые, неподвижно вытаращились в разные стороны.

В одиночной камере чернопёрая рифовая акула выруливает, как исправная гоночная машина, или, может быть, небольшой самолёт-истребитель. Километры, которые она каждый день накручивает, возможно, могли бы расширить территорию Московского Зоопарка вплоть до второго кольца, затопив попутно десяток жилых районов, но здесь, смотанные в клубок, они без остатка растворяются телом воды, жадным до всякого движения. Время от времени сверху спускаются клочья бледного кальмарьего мяса, хлопьями кружатся в воде, акула аккуратными стремительными движениями челюсти, упрятанной наподобие люка в отглаженном серебристом корпусе, подбирает лёгкую добычу. Это имеет для зрителей особенную притягательность: смотреть, как ест животное. Нехитрый этот процесс почему-то завораживает любопытного: он глядит, не отрываясь, быть может, испытывая специальное, чисто человеческое наслаждение

– воображать себя пищей, не подвергаясь при этом ни малейшей опасности, будто бы кожу его щекочут и терзают мелкие отточенные лезвия зубов.

Скучает ли акула? Следит ли из-за своего стекла за людьми, или её взгляд соскальзывает со стеклянной поверхности, как маслом, смазанной светом, и не проникает наружу?

Ребёнок думает об этом не более секунды, он отвлекается соседним зрелищем, огромным шевелящимся лесом как бы молодых, покрытых мягким ворсом, оленьих рогов, и других, прозрачных щупалец, движущихся в каком-то им самим лишь внятном ритме. Их красота, равнодушная к человеку, однако вполне ему доступная, заставляет сердце ребёнка замирать ровно настолько, чтобы ему хватило времени поверить, что оно разучилось биться. Всякое сердце, и глаз, и любой орган, скользкий, лишённый кожи, нечувствительный к боли, больше знает о подводных существах, состоит с ними в каком-то родстве или молчаливом заговоре, может быть, направленном против своего обладателя. Красота органа или рыбы, менее всего пригодная для какого-либо применения или дружеского участия.

Дети, совсем маленькие и побольше, прибывали, как молоко или вода во время потопа. Всякое движение происходило с оглядкой: то тут, то там под локоть грозила попасть маленькая голова или плечо, хрупкие, пугающие. Десятки живых существ, находящихся в процессе непрерывного превращения. Странно было, что все эти удивительные химические и физические процессы целью имеют то, чего на свете скучнее не выдумаешь: взрослого человека. Точно должно было быть наоборот, точно они так и замрут, как шахматные фигурки перед последней битвой, глядя мокрыми ягнячьими глазами, и ничего из теперешнего больше не станет.

Безответственная романтизация изменённых состояний

Впасть в запой. По крайней мере, на сутки, не меньше. Но и не сверх того (всё, что мы желали знать о формах восприятия у неодушевлённых механизмов, мы и так уже знали).

Наблюдать медленное преображение предметов. Не вульгарное изменение, но именно преображение, как если бы в них проступал их извечно предвиденный лик, стёршийся от повседневных прикосновений рукой или мыслью. Двурогие, выпрастывают они себя отовсюду, точно прежде прятались, тщетно ожидая быть найденными. Всякий из них обладает атрибутом пугающей необходимости, одновременно отталкивающей и притягательной, так что это напряжение противодействующих сил подвешивает мир, обращая во взвесь. Она парит и не падает.

В какой-то момент вдруг оказывается, что всё происходящее со мной и с вами представляет собой демонстрацию некоего кинофильма, не запечатлённого в плёнке или цифре, но особым голографическим образом снятого во всех четырёх доступных нам измерениях. Тогда, в процессе съёмки, любое движение было результатом тщательнейшего подбора угла и ракурсов, искусно подсвеченное и обустроенное, всякий непорядок в кадре – специально спланированным и приведённым в действие многотысячелетней подготовкой. Теперь оно воспроизводится с пугающей и веселящей лёгкостью, не требуя ни малейшего напряжения. Точность воспроизведения, однако же, иллюзорна: мы знаем, что она результат монтажа и воспроизводит лишь то, что должно быть воспроизведено. И тут, и там мы встречаемся с повторением какого-нибудь особенно приглянувшегося кадра, не просто похожего, а того же самого, приобретающего другой смысл лишь в соседстве с предшествующими и последующими. Это могло быть в предыдущей серии, но могло, впрочем, и не быть вовсе. Эта двойственность, подозрительность иллюзии узнавания никого не желает ввести в заблуждение, потому что предъявляет себя как видимость, не более.

Зрелище не предполагает никакого зрителя. В этом его мистериальный смысл, который позволяет думать, что перед нами не просто кинокартина, предмет, существующий в полной мере лишь тогда, когда предъявлен какому-никакому наблюдателю. И мысль о том, что никто не увидит *должное* быть увиденным, отвращает и намекает на тщетность. Это же созерцающее

само себя действие противоречиво, как глаз, наблюдающий сам себя, однако мысль о зеркале сводит парадокс на нет: мы понимаем, что находимся перед зеркалом. Мы не видим в нём себя, но мы есть то, что мы видим в нём. Наш взгляд заходит слишком далеко, всегда упираясь в отталкивающую свет поверхность, но стоит чуть окоротить его, сосредоточившись на свойствах стекла.

Так, воздух, который мы видим, наполняется остаточными образами. Синеватые, песчаные, розовые, они заполняют пространство. Люди и предметы являются как бы в мареве своих прошлых и намёками будущих движений. Словно размазанные, они теряют чёткость, но приобретают некоторый шлейф, указывающий на то, какими они могли бы нам являться, если бы мы были вдруг лишены, как ненужного придатка, представления о времени. Тогда разрушимость всякой вещи или даже существа представляется чем-то обыденным, относящимся к его своеобразию и способам употребления. Белокурое, деревянное и смертное становятся свойствами одного порядка. Сон, который поглотит остатки дня, может завершиться пробуждением, но может и перейти в смерть. Это не имеет никакого значения.

Через какое-то время сон, точно, приходит. Глухой, без сновидений, начисто вырезающий шесть-восемь часов, в течение которых вы нигде и никак не существуете. Вы просыпаетесь от жажды или не просыпаетесь вовсе.

Тератомы пресакральной области

Тератома – опухоль, включающая в себя зубы, волосы, фрагменты костной и хрящевой ткани. Что-то вроде маленького оскалившегося животного, притаившегося в толще ни о чём не подозревающего организма. В древности тератомы вызывали суеверный ужас, им приписывали потустороннее происхождение и считали пособниками инфернальных сил, подсаженными в тела людей, которых облюбовал для себя ад. Возможно, здесь свою роль сыграл тот факт, что тератомам подвержены преимущественно женщины. Эмпедокл считал существование тератом доводом в пользу истинности своей экстравагантной концепции происхождения живых существ.

*

В окружающей действительности ничего было невозможно понять, она являлась как бы в образе решённого кроссворда и к дальнейшему чтению предназначена не была. Поэтому жил в постоянном сопровождении внутренней речи, как если бы смотрел жизнь в гнусавом одноголосом переводе, часто неверном или упускающем своеобразное остроумие оригинала.

*

Тогда Бог спросил Каина: «Где брат твой Авель?», а Каин ответил что-то вроде «Я не сторож брату моему», но Бог при этом знал, что Каин знает, и Каин обязательно тоже знал, что Бог знает, что Каин знает, и Бог знал, что Каин знает, что Бог знает – etc., и чем это всё в итоге закончится. Их разговор представлял собой искусное нагромождение дипломатических уловок, призванных покрыть эту ситуацию полной прозрачности некоторым флёром из недомолвок. Но то, что Богу было ведомо, а Каину, по-видимому, нет, так это что в другом, идеальном варианте развития истории человечества, который в строгом смысле историей не является и пишется всегда лишь в желательном наклонении, Каин всё равно убивает Авеля, но делает это без злого умысла, по неведению, и не несёт за содеянное почти никакого наказания. Эта оборотная желательная сторона существования вся сокрыта полной тьмой неведения и подобна

сну без сновидений, о котором человек не может вынести никакого определённого суждения, вплоть до того, что не может даже сказать, был ли он вообще, и если да, то как долго.

*

Невидимое и не могущее быть засвидетельствованным – вот точка наваждения, вызывающая приступ невыносимого ужаса в сознании, освобождённом от присутствия всезнающего наблюдателя. Незасвидетельствованное не просто нам неведомо (ведь всегда есть некто, кому известно) – оно как бы не существует вовсе, его нельзя *выследить*, коль скоро оно не озаботилось оставлением следов, потому что не желает быть пойманным. До определённого момента европейская культура носила слегка параноидальный характер *расследования*, сбора свидетельств и улик, при помощи которых истина могла бы быть выведенной на свет божий. Однако, на закате своего существования она всерьёз озаботилась категорией «неясного» – не того, что подлежит разъяснению, а того, что так и осталось неразъяснённым: преступление, которое так и не было раскрыто, невероятное совпадение, которое так и не получило никакого логического объяснения, сын, так и не узнавший имён своих родителей, обвиняемый, против которого так и не нашлось веских и убедительных улик, не дошедшие до нас тексты или те, что были уничтожены в момент своего завершения или несколько позже, – всё то, что не может быть засвидетельствованным. Быть может, истерическая одержимость письменами, произведение гигантского количества текстов и текстов по поводу этих текстов есть последний всплеск сопротивления перед окончательной победой невидимого.

Сирены в Берлинском зоопарке в 1986 году

Их можно было разглядеть вблизи. Во всяком случае, в хорошую погоду, когда они выползали из мирных солёных вод на кусок скалы, чтобы погреться на солнышке: две, даже три, если приглядеться. Маленькие старушечьи мордочки, покрытые бородавками. Раскосые тюленьи глаза, имевшие глумливое и лживое выражение, или такое свойство приписывал им взбудораженный легендами человечий разум. Тёмная складчатая кожа лоснилась от жира и того специального секрета, которому суеверными моряками ошибочно приписывались свойства афродизиака. Потому к началу XIX века твари эти были практически истреблены. Свидетельствовали, что их мясо жирно, нежно и, по правде сказать, невкусно. Пение? Частота звуков, создавших им славу, слишком высока, чтобы её могло уловить грубое человеческое ухо; в этом смысле они, скорее, сродни гармонии небесных сфер, однако производят на человеческое сознание одуряющее воздействие, так что человек на некоторое, иногда весьма продолжительное время как бы теряет рассудок, утрачивает способность ориентироваться в пространстве и изо всех сил стремится изловить этих уродливых существ, которые, однако, с изрядным проворством сигают в воду, увлекая за собой незадачливого мореплавателя. Этот изящный акустический приём они используют для того, чтобы оглушать рыбу и разную мелкую морскую живность, которая служит им пищей. Здесь, отделённые от посетителей толстым слоем звукоизолирующего стекла, они утрачивают свои волшебные свойства и, безопасные и сами находящиеся в безопасности, доживают свой век под взглядами посетителей зоопарка, совершенно к ним равнодушные.

Я пристально вглядывался в личико ближайшей. Всякое животное внушает подозрение: им всегда как будто чего-то не достаёт, самой малости, для того, чтобы обладать лицом, но что если это всего лишь иллюзия, возникающая с непривычки? Что если человеческая хвалёная особенность, позволяющая одного распознать среди тысячи, тоже не более чем иллюзия и вековая привычка? Я слежу за бледной её мимикой, расслабленной, как у больного, потерявшего способность управлять своей мускулатурой: раз вылепив его из вязкой кожи, отливаю-

щей мазутом, природа отошла от дел, предоставив трудиться волнам, которые сгладят черты, придав им шутливое подобие человеческих. Только опьянённый безумием разум мог бы приписать этим лоснящимся шматкам сала облик прекрасных сладкоголосых дев. Вот одна фыркнула и сощурилась, другая же, елозя ластами, удивительно быстро соскользнула в воду, словно засмущавшись. Голос гида, разъяснявшего особенности природного поведения мифологических существ, представлялся им, вероятно, каким-то нерасчленимым и бессмысленным гулом. Я провёл возле них добрые три четверти часа и ничего в них не понял, мне захотелось уйти, и я ушёл.

В 1998 году последняя сирена в Берлинском зоопарке скончалась от старости, не оставив потомства. Об этом писали в газетах, но в ту пору очередной финансовый кризис несколько развлёк людей и им стало не до исчезновения вымирающих видов. Тем не менее, иной раз мой взгляд останавливается на каком-нибудь мелькнувшем в толпе лице и – то ли это призрак помешательства, то ли простая усталость глаза, измученного ежедневным зрелищем сотен и сотен лиц, под конец сливающихся в нечто невразумительное, – но черты эти вдруг кажутся мне знакомыми и свидетельствуют о том, что родовое древо сирен пресеклось не вовсе.

Женщина из Музея Гигиены

Женщина из санкт-петербургского Музея Гигиены. Продукт естественной мумификации. Она не была свидетельницей в точном смысле этого слова. Откопанная на кладбище возле села с жутковатым названием «Мартышкино», она выступала навстречу посетителям из своего стеклянного хранилища с трудно передаваемым выражением брезгливости, какое бывает свойственно только уже очень давно мёртвым людям. Золотистые кружева её платья потускнели, однако сохранились несколько лучше тканей кожи. Прямое положение к лицу мертвецам и лунатикам: точно они прикидываются живыми или бодрствующими, и это внушает ужас и почтение. Эту даму легко можно было вообразить себе в метро или пытающуюся расплатиться в магазине истлевшими и вышедшими из употребления купюрами. Приподнятая на своём постаменте, она становилась почти вровень с живыми (смерть делает человека более компактным, слегка подсушенным, как будто бы он был его самого изображающей восковой фигурой. В детстве так и представлялось – будто человек каким-то образом исчезает и на его место помещают довольно точную, но плохо отображающую особенности выражения лица восковую фигуру. Так сказать, в порядке ритуала. Куда исчезают настоящие тела – об этом было неприятно и захватывающе поразмыслить. Возможно, их кто-то похищал, оставляя взамен копию-фальшивку. Копию полагалось целовать в лоб, и это было так же неестественно, как вообще дотрагиваться до незнакомых неживых предметов, однако, раз уж все так сговорились, то приходится). Женщине из Музея Гигиены вполне могло в какой-то момент прискучить находиться в своей витрине, точно она манекенщица, демонстрирующая двести лет назад вышедшие из моды одежды; тогда она переодевается в современное и ходит по улице, тонкая, сухая, как плеть, с подкрашенными веками, заходит, может быть, к кому-нибудь в гости, изъясняется жестами (голосовые связки давно ссохлись и разрушились, поэтому лицо её приобретает особую обезьянью выразительность, как это всегда происходит в дальних странах, язык которых нам не вполне знаком.) Все мёртвые разучиваются говорить на языке, точно впадают в глубокое детство. Их нужно учить всему заново: ходить, изъясняться, следовать правилам приличия. Они наивны и нечувствительны, так что запросто могут задеть или даже оскорбить. Но это они совершают не со зла, а по неведенью. Мёртвые требуют от живых бесконечного терпения: им всё нужно разжёвывать по несколько раз. Они лишены чувства юмора. Их с трудом удаётся рассмешить. Их невозможно переубедить. Из всех человеческих эмоций им доступны только самые нехитрые, из тех, что сближают нас с дикими животными. Возможно, смерть – просто неизбежный процесс одичания, как если бы человек вдруг освобождался из-под надзора себе

подобных и приобретал повадки других предметов. Осваивал какую-то странную профессию. Женщина из Музея Гигиены, ставшая экспонатам, обладала теперь новым смыслом, прежде ей не присущим, а лишь грезившимся: точно вырезанная из цельного куска мыла. Возможно, так развлекаются в заключении или в больнице, когда решительно нечем больше себя занять. Эти хитроумные поделки, шахматные фигуры в человеческий рост величиной, хранятся в громадных деревянных ящиках и в особых случаях извлекаются наружу для игры. По этому случаю им присваиваются имена когда-то живших людей. Но мы не станем обманываться случайным или умышленным сходством.

Странные создания Свифта

возможно, это и есть бессмертие

Странные создания Свифта. Практически лишённые памяти, постоянно испытывающие непереносимые физические страдания, бессмысленные и обречённые объекты. В какой-то момент они действительно стали появляться. Побочный продукт эволюции (говорили о них), трагическая ошибка природы.

Всё было не так просто (как предполагал о них Свифт). Обречённые на бессмертие не рождались с особой отметиной на челе, они были вовсе лишены специальных признаков, обличение которых сделало бы их существование невыносимым с самого начала. Всё было не так страшно. До поры до времени они могли позволить себе роскошь заблуждаться о собственном существовании, полагать себя такими же смертными, как и остальные, и требовать себе по этому поводу таких же привилегий. Ведь они смертны и из этого что-то следует. На (в среднем) сто сороковом году они (как предполагал о них Свифт), вслед за окружающими, понимают, что эта бодяга неспроста. На (в среднем) двухсотом году они проникаются уверенностью в том, что эта бодяга неспроста.

Те, к кому они были привязаны, умерли. Дети тех, к кому они были привязаны, к которым они были привязаны потому, что они напоминали тех, к кому они были привязаны, умерли. Дети детей тех, к кому они были привязаны, к которым они были привязаны потому, что это напоминало им о тех приятных ощущениях, которые вызывали в них те, к кому они были привязаны, умерли тоже. Даже очертания земной коры успели неуловимо измениться, что, пока ещё, внушает лишь смутные подозрения. Странные создания Свифта, на третьем столетии своего существования испытывающие потребность сбиваться в колонии, дабы сосуществовать с себе подобными, на четвёртом столетии устают друг от друга не меньше, чем от себя самих, и скрываются в норах. В глубоких, причудливо извивающихся норах. Ноздреватая от их прохождений земля устало принимает страдальцев в свою толщу как последнее прибежище.

Самое худшее, что таит в себе судьба странных созданий Свифта, это, пожалуй, то, что они всё-таки, в конечном итоге, смертны. Уже ничего не понимающих и не помнящих, покроет их корка льда, когда-нибудь, когда Солнце, по выражению одного из глав одного из государств, о котором к тому времени не останется и воспоминания, превратится в какого-то жёлтого карлика, почва перестанет производить плоды, недра её опустеют. Но даже они уже не смогут выступить свидетелями по этому делу. Не смогут выступить свидетелями по этому делу.

Город

Этот город похож на прекрасную молодую идиотку, развалившуюся на берегу, его шероховатая шкура потрескалась и истекает маленькими рыжими муравьями, он не способен к членораздельной речи, но постоянно лепечет сам с собой, о чём-то советуется, на что-то соглашается. Он набожен и весь увешан дутыми золочёными побрякушками, звенящими от ветра и

по праздникам. Под окном похотливые мальвы жадно выворачивают рты, являя желтоватую мягкую гортань, как в Крыму, вдоль дороги цветут мясистые люпины, синие, розовые, фиолетовые.

Река узкая и мелкая, почти детская, только в том месте, где она впадает в озерную прорву, вдруг расширяется, чтобы исторгнуть в него кисловатую пахучую воду. В середине весны вспухает по краям и мерно рокочет: происходит сезонное спаривание лягушек. В уголках появляется крутая пена, как при эпилептическом припадке, лягушки, не разбирая своих и чужих, превращаются в кипящую массу целых и порванных тел, перекатываются друг через друга, щурят выпуклые золотистые зенки с узкими, плоскими, как надрез, зрачками. Потом на дороге вдоль берега всё красное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.